

34
Т 2007

В. В. ВОРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ и РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ≡

СБОРНИК СТАТЕЙ



ХАРЬКОВ
1923

ЛИШНИЕ ЛЮДИ

Лишние люди.

Nur der verdient sich Freiheit
wie das Leben.
Der täglich sie erobern muss.
Faust, II Theil.

I.

Могучим потоком движется жизнь все „вперед—и выше, „вперед—и выше“, увлекаая за собой все живое и жизне-способное, заражая бодрым, радостным настроением, суля бесконечные перспективы. „Пусть сильнее грянет буря“,— льется песнь буревестника, и эта песнь наполняет душу не страхом перед стихией, а мужеством и жаждой жизни, сознанием силы, переливающейся „живчиком по жилочкам“ и рвущейся к делу. И среди этого могучего хора пробуждающейся весны жалким диссонансом звучат заунывные голоса отмирающего поколения, пережившего свои мечты и желания. Грустной вереницей проходят бесславные потопки некогда славных отцов перед нашими глазами в пьесах А. П. Чехова. Без веры, без воли, без желаний коротают они свой печальный век—эти „лишние люди“.

Лишние люди!.. Какое нелепое, какое уродливое сочетание понятий. Для людей, провозгласивших человека царем творения, поставивших его на первое место среди всего сущего, казалось бы, может быть „лишним“ все, что угодно, только не сам человек. А, между тем, несмотря на торжественные гимны человеку со стороны идеалистов и менее высокопарное, но более глубокое уважение к нему со стороны реалистов, жизнь немилосердно коверкает людей и ставит их нередко в такие условия, где они оказываются совсем лишними.

— Я умираю от стыда при мысли,—жалуется Иванов,— что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди...

И этот „здоровый, сильный“, но лишний человек такими мрачными красками рисует свое душевное состояние:

— С тяжелой головой, с ленивой душой, утомленный, надорванный, надломленный, без веры, без любви, без цели, как тень слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачем живу, чего хочу?

А за ним мрачными рядами проходят другие, такие же „лишние люди“—Астровы, дяди Вани, Тузенбахи, злополуч-

Правда, июль 1905 г.

ные „сестры“, несчастные „чайки“, владельцы „вишневых садов“, и много их, и все они угрюмые, измученные мелкими, но безысходными страданиями и жалкие этой мелочностью своих страданий. Сквозь дымку идеализации—или, вернее, поэтической жалости и сострадания, которыми окружил своих героев автор,—проглядывает все ничтожество этой серенькой, туманной жизни, грустной, отталкивающей, как дождливый, осенний день.

— Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас,—справедливо замечает Астров,—...будут презирать нас за то, что мы прожили наши жизни так глупо и так безвкусно.—Мы стали такими же пошляками, как все,—признается он ниже.

А, между тем, автор не задавался целью изображать и поэтизировать пошлых, ничтожных людишек. Напротив, он довольно ясно дает понять, что все это были когда то умные, деятельные люди, своего рода лучшие люди данного общественного круга. Правда, этот общественный круг не был предназначен историей для совершения великих дел, мировых подвигов; правда, задачи этого круга—узко групповые, редко охватывающие интересы более широких слоев общества, не открывали широких горизонтов, не давали места смелым порывам общественного творчества. Неудивительно, что и величина героев этого круга и размах их деятельности так незначительны.

Русская литература недалекого прошлого, особенно 60-х и 70-х годов, приучила нас к типам, представляющим более крупный, общественный интерес..., литературные герои этой эпохи искали подвигов, ставили себе широкие общественные задачи, а потому неудивительно, если размах „дерзаний“ какого-нибудь Иванова—например, его „подвиг“ женитьбы на еврейке или его „необыкновенные школы“—вызывают только добродушную улыбку.

Входя в круг героев чеховских пьес, мы входим в мирное обывательское болотце, где самодовольно квакают лягушки и чинно плавают жирные утки со своим многочисленным потомством. И когда какой-нибудь юный утеныш, увлеченный примером пролетающих диких уток, вздумает подняться к поднебесью, нам нечего удивляться, если он, долетев до ближнего ивового куста, грузно шлепнется в воду и станет горько жаловаться, что взвалил себе на спину непосильную ношу. И старые утки с облегчением вздохнут и будут утешать его, причитая: и мы были молоды, и мы рвались к идеалу, да что делать, лбом стены не прошибешь, не перешибешь обуха плетью и т. д.

Было время, когда Иванов—„единственный во всем уезде путевый малый“—был живым и жизнерадостным чело-

веком. „Был я молодым, горячим, искренним, неглупым,— рассказывает он про себя,— любил, ненавидел и верил не так, как все, работал и надеялся за десятерых, сражался с мельницами, бился лбом о стены“.

Но, когда мы от этих эффектных заявлений перейдем к реальному содержанию его работы и борьбы „с мельницами“, мы сразу же увидим, как, в сущности, мелко плавают наш герой. Судить о том, во что он верил и из-за чего бился лбом об стену, мы можем по его назидательным советам врачу Львову: „Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках... не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стену... Да хранит Вас бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей“...

Программа, как видите, не особенно страшная, тем более, что из родственной общественной среды в наши дни выдвигаются более крупные задачи, осуществление которых требуют несравненно больших сил гражданских доблестей. Неудивительно поэтому, что нас мало трогает, когда Иванов старается объяснить свой упадок:

— Не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни, я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жилы... И вот, как жестоко метит мне жизнь, с которой я боролся.

Еще тусклее и мелочнее anamnesis другого героя, трогającego своей судьбой многие нежные сердца—дяди Вани. Этот—некогда „светлая личность, по уверению его матери, всю свою жизнь ухлопал на служение профессору эстетики, казавшемуся ему гением. В конце концов гений оказался ничтожеством.

— Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика, — жалуется дядя Ваня,—я работал на него, как вол... Я гордился им и его наукой, я жил, я дышал им. Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным... И я обманут... вижу—глупо обманут...

И когда он понял, наконец, что обманут, его охватило такое же отчаяние, как Иванова. Но ему было уже под пятьдесят лет, у него уже не могло найтись энергии, чтобы покончить с пошлой жизнью. И он начал ныть:

— Что мне делать? Что мне делать?... Начать новую жизнь... Подскажи мне, как начать... с чего начать...

На что Астров отвечает вполне резонно:—Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твое и мое, безнадежно!

И, если мы присмотримся к жизни и идеалам всех прочих „лишних людей“, изображенных Чеховым, и кружка

„трех сестер“, и обитателей „вишневого сада“, мы повсюду увидим ту же черту: мелочность идеалов и жизненных задач, и большое горе и страдание, когда эти идеалы и задачи разрушает жизнь. И эта противоположность и несоответствие между желанием и страданием от неосуществившегося желания, делающие на первый взгляд жалким и смешным само страдание, при ближайшем изучении приобретает более глубокий и, так сказать, исторический смысл.

Чеховские герои являются эпигонами поколений, сыгравших в свое время крупную историческую роль, их гибель—это заключительный эпизод жизни целого общественного течения. В качестве эпигонов, в качестве представителей вымирающего, неспособного к самостоятельной жизни направления, они, поскольку не переходят на точку зрения других более жизненных течений, по необходимости обезличиваются, выцветают, спускаются от общественного до личного, от действенной энергии до апатии и разочарования.

Все, что среди нас способно еще ожить в лучших условиях, способно еще пустить новые корни и зацвести к новой жизни,—все эти элементы бегут из родной среды, как это делает Аня со своим студентом („Вишневый сад“). Сама эта среда разлагается, разрушаются связывавшие ее единство интересов и характерная групповая психология, совершается постепенное распадение и индивидуализация.

Индивидуальные задачи, с которыми выступают отдельные члены этой общественной группы, являются и по историческому значению самой группы и по их индивидуальному характеру мелочными по сравнению со всем грандиозным общественным процессом и выдвигаемыми им мировыми или хотя бы только национальными задачами; жизнь всей среды и отдельных ее членов становится тусклой и бесцветной, замолкают и замирают все общественные альтруистические инстинкты, а место их занимает беспрдельно господствующая мешанская пошлость.

Эта жизнь обреченного на гибель общественного строя,—а ее именно и рисует в своих пьесах А. П. Чехов,—не может дать пищи для творчества художника.

И мы действительно видим, что во всех своих пьесах наш автор изображает только один момент из жизни „лишних людей“: именно—их гибель:

„Еще года нет, как был здоров и силен и т. д.“—говорит про себя Иванов; дядя Ваня „до прошлого еще года“ верил в своего профессора; действие в „Трех сестрах“ начинается „через год“ после смерти их отца, изменившей весь строй их жизни.

Точно также пьеса „Вишневый сад“ рисует нам процесс гибели владельцев этого сада. И это, конечно, не случайность.

Поскольку жизнь „лишних людей“ представляется мелочной и пошлой, постольку их гибель имеет крупный и общественный интерес: ибо с ними ликвидируется целый период нашей общественности, гибнет окончательно целый общественный слой, имеющий свою длинную историю, сыгравший в свое время крупную роль в развитии самосознания русского общества.

Условия общественного быта обрекают данную группу на гибель, и это крупный факт, стоящий великого плача „лишних людей“; идеалы же и борьба их мелочны, ничтожны и по справедливости теряются во мраке *anamnesis*'а.

Отсюда понятно, что автор имел достаточно оснований использовать для художественных целей гибель и горе „лишних людей“, отделавшись от их положительного содержания короткими намеками.

Присмотримся теперь к этому общественному процессу, который породил „лишних людей“ и обрек их на бесславную гибель.

II.

Современные цивилизованные общества—общества дифференцированные—разложились в процессе развития на определенные классы и группы, с определенными хозяйственными, общественными и правовыми интересами и идеалами. Эти интересы, вытекающие из условий существования и роли данной группы в процессе общественного производства благ жизни—другими словами, из производственных отношений общества—далеко не солидарны между собою, нередко даже прямо противоположны. Эта несолидарность интересов отдельных общественных групп, естественно, вызывает трения и столкновения между ними и понятное стремление каждой группы занять доминирующее положение в обществе. Надо заметить, что как целые общественные классы, так и отдельные группы являются не только выразителями данных интересов в данный момент, но также выразителями этих интересов в будущем, в процессе развития общества. Только рассматривая общественные группы в этом процессе, мы можем ясно понять их значение и роль в обществе.

Историческое развитие, уровень и состав производительных сил общества, характер его технической культуры—создают условия, наиболее благоприятные для отдельной общественной группы, и тот же процесс, который создал эти объективные условия, создает одновременно и условия субъективные—считая субъектом данную коллективную единицу,—именно: сознание необходимости и готовность добиваться тех благ, которые делают доступными в данный момент объективный процесс. Стихийный процесс выдвигает

из масс данного общества сознательного выразителя преобладающих интересов в обществе или, что то же, выразителя интересов преобладающей (по значению) части общества. Это единство исторического процесса, в силу которого одновременно и теми же причинами создаются материальные, объективные условия для данной роли определенной группы в обществе и психологические, субъективные условия, толкающие эту группу именно к этой роли,—является одним из самых интересных и основных вопросов социологии. Только уяснив себе единство обеих сторон исторического процесса—и материальной и духовной, и стихийной и сознательной,—можем мы вполне постичь так наз. закономерность общественного развития.

Общественный класс—или группа,—выдвинутый ходом событий на первое место и, таким образом, доминирующий в обществе, естественно, осуществляет свою „историческую идею“.

Стоя во главе общественного процесса производства и являясь, таким образом, его хозяином и организатором, этот класс стремится, естественно, реорганизовать на тех же началах и все общественные отношения, приспособляя их к наиболее полному удовлетворению своих классовых потребностей. В качестве доминирующего класса в обществе, он считает себя представителем и выразителем интересов всего общества, а потому стремится свои правовые, научные, моральные понятия фиксировать в обязательных нормах, как правовые, научные, моральные понятия всего общества.

Конечно, другие классы, занимающие иное положение в производственном процессе страны, а потому имеющие другие хозяйственные интересы, другие правовые и моральные понятия, только в силу необходимости мирятся с фиксированными нормами. Довольно вспомнить, как французское „третье сословие“ в течение многих столетий боролось с теми нормами, которые были установлены господствовавшими сословиями феодального общества. В философии, в этике, в праве старалось оно формулировать свою идеологию, нашедшую полное выражение в эпоху, предшествовавшую 1789-му году. Но это полное выражение идеологии подрастающей буржуазии могло сложиться только тогда, когда объективный процесс развития производительных сил пропел отходную феодальному строю хозяйства и господства и подготовил период власти буржуазии. Роль, которую данный общественный класс (или группа внутри класса) играет в хозяйственной жизни страны, определяет и ту роль, которую он в силах сыграть в общественной жизни. Если хозяйственной роли класса суждено процессом развития крупное будущее, то и в общественной жизни он проявит силу,

энергию, боевую бодрость; если же его функция в производственном процессе обречена на гибель, то и в общественной жизни этот класс (или группа) будет чахнуть, терять свое значение, разлагаться; другие более счастливые общественные элементы будут отнимать у него позицию за позицией, все жизнеспособное будет бежать от него в другие слои общества, а сам он в политическом отношении поплется в хвосте какого-нибудь примыкающего и более жизненного класса, пока совсем не растворится в обществе.

Когда в процессе общественного развития происходит замена одного класса другим в роли доминирующего общественного элемента, как это пережили в течение минувшего века все европейские государства при переходе от феодальных к буржуазно-капиталистическим отношениям, тогда весь строй хозяйственных и общественных отношений претерпевает серьезные изменения.

Новый доминирующий класс—это новый организатор хозяйственного, а за ним и общественного порядка страны. И он стремится, как было указано выше, приспособить весь строй жизни общества к своим историческим потребностям.

Правда, в момент расцвета этого класса уже хозяйственная жизнь в значительной мере приспособлена к этим потребностям, ибо появление этого класса во главе общества само по себе является результатом и показателем переворота, совершившегося в недрах общества; иначе данный класс не мог бы занять первенствующего положения. Но в том то и дело, что хозяйственная жизнь страны пока только в значительной мере приспособлена к потребностям данного доминирующего класса. Как он является лишь преобладающим (по значению) элементом общества, так и его специфические формы хозяйства являются преобладающими во всем хозяйственном строе страны.

Исторической задачей нового хозяина жизни становится: преобразовать всю экономическую жизнь, все производственные отношения в духе характерного для него способа производства. В этом, да и в аналогичном преобразовании в области общественных отношений и заключается тенденция данного класса реорганизовать жизнь страны в интересах наиполнейшего удовлетворения своих классовых потребностей.

Во Франции, например, накануне переворота 1789 года капиталистические отношения—особенно в промышленности—находились еще на очень невысокой ступени развития, но зато, когда буржуазия достигла власти, она целым рядом мер—от секуляризации монастырских земель до гражданского уложения—начала способствовать рождению и росту капитализма, начала приспособлять жизнь страны к удовле-

творению своих классовых потребностей. В этом процессе приспособления совершается коренная, нередко очень болезненная ломка. Целым общественным группам, втянутым в круговорот экономической жизни нового общества, приходится реорганизовать весь строй и хозяйства, основанный на совсем других отношениях, приспособленный ко всем другим требованиям.

А такую ломку в силах вынести не всякая группа: для этого нужна наличность многих материальных и моральных условий.

С определенными хозяйственными отношениями сживаются и своеобразные представления, понятия, навыки. Известные способы производства и основанные на них хозяйственные взаимоотношения людей требуют вполне определенных умственных и моральных свойств. Если полунатуральное крепостническое хозяйство способствовало некоторой барской халатности и распущенности, если оно развивало барские качества—обломовщину, нерадивость, мотовство, но зато нередко и великодушие, бескорыстие, то совсем иные свойства требуются при капиталистическом хозяйстве.

Деловитость, расчетливость, бережливость, с одной стороны, эгоизм, черствость, с другой,—вот те душевные качества, которые поощряет развитие капитала и которыми это развитие в свою очередь поощряется.

Естественно, поэтому, что переход от феодализма к капитализму не совершается простым переходом от стародворянских производственных отношений к буржуазным, от крепостного к вольнонаемному труду. Напротив, этот переход представляет медленное и продолжительное перерождение старого общества в новое, постепенное приспособление старых методов хозяйства к новым потребностям, постепенное зарождение и рост в недрах старого общества элементов нового. Но когда новые начала становятся господствующими началами в обществе, когда они диктуют свои требования всей общественно-экономической жизни, тогда перед общественными группами, сохранившими еще старые формы хозяйства, встает роковой вопрос: либо сразу приспособиться к новым требованиям, либо погибнуть.

И тут-то замечается, что целые группы общества оказываются, благодаря своей хозяйственной и психологической отсталости, неспособными к достаточно полному и достаточно быстрому приспособлению. Начинается процесс упадка, оскудения, гибели. Процесс медленный, ибо и группы и отдельные особи борются за свое существование, приспособляясь в тех или других частностях, и нужны долгие годы, пока жизнь сотрет с лица земли отживающие, но цепкие формы.

В этом процессе упадка, обусловленном неспособностью данной группы примениться к новым обстоятельствам, происходят и упадок и вырождение всей той общественно-психологической надстройки, носителем которой являлась эта группа, т. е. ее идеалов мировоззрения, ее специфических настроений.

Утратив свое прежнее значение и не приобретя нового, наша группа совсем перестает играть в обществе роль самостоятельного элемента. Внутренняя связь ее ослабевает, групповая психология затирается, между самой группой и ее идеологами начинается все растущий разлад, более живые силы уходят из родной среды, идут на службу к новым хозяевам жизни или опускаются к народным массам, и в том и в другом случае отрекаясь от психологии породившей их группы.

Но горе тем идейным представителям этой группы, которые не в силах порвать психологически со своей средой, не в силах усвоить чужой психологии. Они обречены на жалкое существование, на бесплодную борьбу с опошлевшей, опустившейся средой. Идеалы их ничтожны, сил для борьбы у них мало—ведь это те элементы, которые остались после ухода лучших сил!—и вот они после недолгих усилий надрываются, разочаровываются, обессиливаются.

Погрузиться в чисто зоологическое существование, как большинство их собратьев, они не могут; сознание болезненно работает и казнит их; бороться дальше не хватает энергии, и они становятся „лишними людьми“.

III.

В половине прошлого века Россия пережила замечательнейший перелом. Мы имеем в виду не законодательные реформы 60-х годов, а тот глубокий внутренний переворот, преобразовавший старую, барскую, сословную Русь в молодую, классовую или, как принято говорить, гражданскую Россию.

Этот знаменательный факт, вызванный потребностями нарастающего капиталистического хозяйства, сразу стер прежние строгие границы сословий, смешал вместе барские и мещанские понятия, и из этого хаоса выдвинул новый класс, которому суждено было сыграть в будущем доминирующую роль,—промышленную буржуазию.

В эпоху крепостного права русское общество делилось на две крупные резко очерченные части, отстоящие одна от другой на целые столетия культурного развития—на привилегированную и непривилегированную Русь. В то время как последняя вела исключительно зоологическое существование и не поднималась в своих вождениях выше скромного

желания упорядочения гражданско-правовых отношений, первая пользовалась всеми благами европейской культуры, имела довольно широкую возможность „погружаться в искусство, науки, предаваться страстям и мечтам“. И она—по крайней мере, самые культурные элементы ее—погружалась, соответственно запросам времени и моды, то во французский рационализм, то в немецкую философию. И оттуда выносила она те „страсти и мечты“, которые рано выдвинули в передовых слоях российского дворянства запросы публично-правового характера.

Таким образом, прогрессивное дворянство в эпоху крепостного права стало историческим носителем западноевропейских идей государственности. Эпоха освобождения крестьян и других крупных реформ, ослабившая в значительной мере сословные перегородки, разрушившая китайскую стену, ограждавшую российское „третье сословие“,—эта эпоха создала тот хаос, из которого родилась современная буржуазия, и в этом хаосе переходного времени погибла преемственная нить, долженствовавшая соединять передовые элементы господствующих классов старой и новой Руси. Новый организатор общества—буржуазия, явившаяся законным наследником исчезнувшего крепостнического дворянства, зародилась и вышла на общественную арену при таких условиях, при которых она не могла, по крайней мере, в первое время—унаследовать правовые лозунги прогрессивного дворянства.

Воспитанная в эпоху крепостных отношений, стеснявших и тормозивших развитие и последовательное проведение в жизнь начал неограниченной, бессословной частной собственности, молодая буржуазия, естественно, сосредоточила свои desiderata на осуществлении этих гражданско-правовых начал; получив свое гражданское равноправие из рук господственной власти, как добровольный дар этой последней, она не могла увлечься идеями своего предшественника, не могла стать душеприказчиком его политического завещания.

По историческим условиям своего возникновения русская буржуазия принесла с собой только ограниченный багаж чисто экономического самосознания, по уровню своего развития она находилась еще на той стадии, когда класс определяется „способом от противного“, лишь в противопоставлении другим общественным классам, чужд еще того внутреннего самосознания, которое толкает его дальше чисто экономических требований. При такой отсталости она не могла подхватить и пряхать дальше преемственную нить, выпавшую из рук отжившего поколения.

Эпоха реформы подорвала в корне и хозяйственное и общественное значение тех уютных, уютавших в „вишне-

вых садах“ дворянских гнезд, где столетние книжные шкафы „навевали идеалы добра и общественного самосознания“ („Вишневый сад“, стран. 46). Но она не могла порвать и разрушить в живущих поколениях самых этих идеалов „добра и общественного самосознания“, передававшихся, по традиции, от дедов к отцам, от отцов к сыновьям. И ряд поколений умирающего в общественном значении строя обречен был на трагедию контраста этих идеалов со все уменьшающейся общественной силой самого слоя. И, когда эта сила дошла, наконец, до нуля, тогда потускнели идеалы, пошатнулась вера в них, расслабла воля, желания сменились апатией, тоска—скукой, сложился знакомый нам тип „лишних людей“.

Процесс разложения, охвативший какой-нибудь класс (или группу), прежде всего сказывается в ослаблении внутренней связи, в неустойчивости, характерной для этого класса, психологии. Более живые, т. е. более чуткие, более отзывчивые силы перестают удовлетворяться господствующим в их среде мировоззрением, ищут новых идеалов на стороне и—в результате—уходят из своей среды в другие общественные слои.

В интересующем нас процессе дифференциации прогрессивного дворянства особенно характерно одно течение, сыгравшее крупную общественную роль,—т. н. кающееся дворянство. В поисках за новыми идеалами кающиеся элементы дворянства обращались к народной массе, к крестьянству, в полной уверенности, что их новые взгляды представляют верные выражения заветных мечтаний этой массы.

„Михаил Михайлович не мог не подозревать,—пишет Глеб Успенский,—что такое существо, как крестьянин, бедный, измученный, забитый, испытавший и переживший бог знает какие невзгоды, несущий на своих плечах опыт тысячелетних трудов,—должен, непременно должен питать ненасытную жажду устроить жизнь по новому; у него в горле пересохло от этой жажды, он ждет не дожидается, он страстно хочет вздохнуть полною грудью“ *).

Для кающегося дворянина естественна была мысль, что именно он—законный наследник поколений, вваливших на плечи крестьянина эти тысячелетние труды, что он то и должен идти теперь к крестьянину и помочь ему „устроить жизнь по новому“, вздохнуть полною грудью.

В этом своем стремлении кающийся дворянин столкнулся с другим типом, выросшим из общественных низов и сошедшим с ним на понимании практических задач времени—именно с разночинцем. Разночинец не имел за собой такого прошлого, как его невольный спутник; разночинцу,

*) «Чудак барин». Соч., т. II, стр. 189.

как это справедливо указывал еще Н. К. Михайловский, не в чем было каяться.

Происходя из той пестрой среды, которую в Западной Европе обобщают понятием мелкой буржуазии—мелкого духовенства, купечества, крестьянства, разночинец вынес сильно выраженное демократическое настроение, приведшее его к психологии, отрицающей буржуазность. И эта психология невольно толкала его по тому же пути, по которому шел и кающийся дворянин.

„Странное существо человек,—рассуждает типичный разночинец Базаров.—Как посмотришь этак сбоку, да издали на глупую жизнь, которую ведут здесь „отцы“,—кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером.—Ан нет; тоска одолевает... хочется с людьми возиться, хотя ругать их, да возиться!“ *)

Разночинец является идеологом *par excellence*; в качестве такового он ищет подходящую, прочную почву, и таковую, как ему кажется,—находит в народной массе.

„Разночинец чувствует свое бессилие в качестве самостоятельного общественного слоя, он ищет поэтому точку опоры для своих заветных целей, ищет ее в низинах, где так же страдают, как и он; он становится „н а р о д о л ю б и в“. Таковы, на наш взгляд, основные психологические черты „разночинца“: они непосредственно вытекают из его социального положения“ (А. Писарев. Журнальные заметки **).

В первые десятилетия жизни обновленной России и кающиеся дворяне и разночинец шли дружно в народную среду; первые—„чтобы уплачивать старинный, мучительный долг“, по выражению А. О. Новодворского, вторые—чтобы „возиться с людьми“. Правильнее даже сказать, что кающиеся шли за разночинцем, ибо этот молодой жизнерадостный элемент с первых же шагов взял в руки дирижерскую палочку и на все движение наложил свой характерный отпечаток. Но не долго продолжалось это единомыслие. При первых неблагоприятных обстоятельствах началось расхождение обоих течений и рельефно сказалось различие двух психологий: разночинец начал приспособлять обстоятельства к своим задачам, кающийся дворянин начал приспособлять свои задачи к этим обстоятельствам. И чем дальше,

*) «Отцы и дети», стр. 134, изд. Маркса.

**) В интересной статье, из которой приведена эта выдержка, понятием разночинца автор охватывает также и кающееся дворянство, как это видно из другого места, где состав разночинского лагеря определяется следующим образом: «дети опеломленного крестьянской реформой оскудевающего дворянства, провинциального духовенства, чиновничества и всякого служилого люда, мелкого мещанства и даже крестьянства». Для нашей цели необходимо разделить оба типа: разночинца и кающегося.

тем больше расходились их пути; бодрый, полный надежды разночинец пошел своей дорогой, а кающиеся элементы оказались не в силах жить самостоятельной жизнью: их дальнейшее шествие было постепенным падением. Мы остановимся на истории этого падения, так как судьба разночинца не входит в рамки нашего очерка. Но прежде, чем перейти к этой печальной истории, мы должны сделать одно замечание.

Два типа: разночинец и кающийся дворянин, являются в нашем дальнейшем изложении, главным образом, психологическими типами. Чем дальше от момента освобождения крестьян, тем больше затушевывается классовый характер обоих типов; состав обоих лагерей становится все более пестрым, но эта характерная психология, которую внесли в свое течение, с одной стороны, разночинец, с другой—разлагающееся прогрессивное дворянство, эта психология продолжает налагать свой яркий отпечаток на оба течения.

Течение кающегося дворянства, которое можно было бы, по его внутреннему содержанию, назвать также культурно-народническим, являлось в рассматриваемый нами период идеологическим выражением настроений и взглядов той промежуточной, средне-дворянской, чиновничьей и интеллигентской среды, которая не успела еще дифференцироваться и раствориться в новых классах капиталистического общества.

IV.

„Роман интеллигенции с народом“ основывался, как мы видели, на том предположении, что освобожденный от крепостной зависимости народ должен мыслить, желать и развиваться так же, как и освободившаяся от своей прежней сословной психологии дворянская или разночинская интеллигенция. Из этой утопической предпосылки вытекала для сознания этой интеллигенции историческая возможность и моральная необходимость „итти в народ“, слиться с ним, „опроститься“.

„Мы идем слиться с народом,—говорит Серпоров *),—мы бросаем себя в землю, как бросают зерно, чтобы зерно это взшло и уродило от сам-пят до сам-сто, как египетская пшеница“.

„Вот где теперь потечет моя жизнь,—рассуждает другой герой того же романа Караманов.—Вести беседу с этой теткой, жить жизнью, сердцем и мыслью батрака, войти в батрацкие интересы, отрешиться от всего мира, который вне батрачества, убить в себе потребности, которые разви-

*) Мордовцев, «Знамена времени», стр. 312.

вает в человеке образование, богатство, знание, из крупного землевладельца, кандидата прав и литератора выродиться в поденщика и узкими интересами поденщика заглушить в себе все высокие человеческие интересы,—одним словом, буквально влезть в шкуру народа, чтобы понять этот народ и слиться с ним, отдать барское, белое, изнеженное тело посконной рубахе и сермяге, облечь узкую дворянскую ногу в онучу и лапоть, чтобы на себе самом почувствовать всю прелесть онучи и силу лаптя“ *).

С такими идеалистическими и альтруистическими намерениями пошла народолюбивая интеллигенция в деревню „работать и думать с народом“. Но ее понятие о народе оказалось столь же наивным и фантастическим, как и представление о „прелестях онучи“ и „силе лаптя“.—Народ, действительный, реальный, а не водевильный народ старых сентиментальных романов, оказался великим материалистом и эгоистом. Народ,—как это справедливо предполагал Михаил Михайлович,—действительно питал „ненасытную жажду“ устроить жизнь по новому; действительно, хотел „вдохнуть полной грудью“... Но он жаждал устроить новую жизнь хозяйственного мужичка, жаждал материального благополучия мелкого буржуа, хотел вдохнуть полной грудью свободного собственника. Идеалистические порывы молодежи наталкивались на материалистическое желание: „землицы бы“; ее альтруистическая проповедь не в силах была устранить эксплуатацию батрака его же односельчанином.

„Мы идем в народ, в курные избы,—мечтала народолюбивая интеллигенция,—и будем там жить, будем там пахать и сеять—не современные идеи, а просто рожь, ячмень и пшеницу, а после уже и идеи, если достаточно удобрим почву, унавозим ее“ **).

А, между тем, действительность с каждым днем все яснее доказывала, что чем успешнее унаваживалась земля „под рожь, ячмень и пшеницу“, тем менее поддавалась почва унаваживанию под „современные идеи“.

Объективный процесс развития деревни все резче и резче расходился с идеологической схемой народолюбивой интеллигенции.

Но на почве этого объективного, стихийного процесса, подготовлявшего жестокое разочарование, возникали и субъективные, сознательные факторы, противодействовавшие культурной деятельности молодежи. С одной стороны, над темным крестьянством тяготело мрачное привидение только что усопшего крепостного права со всеми его ужасами, а, следовательно,

*) Там же, стр. 270.

**) Там же, стр. 311.

и инстинктивное недоверие ко всякому „барину“, ко всякому человеку не из деревни, как бы он ни наряжался в мужицкое платье; с другой стороны, на другой же день после падения старого порядка доминирующую роль в деревенской жизни начал играть новый человек,—человек не „ради идеи“ носивший поддевку и сапоги бутылками, кость от кости той же деревни, близкий ей по психологии, а главное, сильный своей пронырливостью и превосходным знанием этой деревенской психологии. Человеком этим—был кулак. Кабатчик, лавочник или другая подобная личность, вообще, человек с капиталцем, а, следовательно, и с весом, заправлял всем миром и мирским хозяйством, задавал тон не только в вопросах сельской политики, но и по части этики и поведения отдельных мирян. Его сторону тянули, в силу сродства интересов, все денежные и хозяйственные мужички, в его руках все волостное правление, старшина—кум, писарь—друг-приятель и т. д.

Эта-то новая сила скоро почуяла всю опасность, которая угрожает ее бесконтрольному владычеству и хозяйничанию от присутствия в деревне интеллигентных и альтруистических элементов в лице народолюбивой молодежи! Неудивительно, что она поспешила пустить в ход все свои силы, связи и влияние, чтобы оградить свою паству от нежелательного и невыгодного соприкосновения с пришельцами. Началась безобразнейшая травля всех интеллигентных тружеников в деревне: фельдшериц, учителей, учительниц и т. д. Всем этим лицам приходилось слышать один возглас: «пошел вон, не суйся! испортишь! изгадишь!» Зато те самые „подстриженные, рыжие бородки“, которые гнали интеллигенцию из деревни, сами своими средствами удовлетворяли всем потребностям этой деревни.

„Безграмотный человек все подваливает и подваливает,—писал Успенский.—Он улучшает нравы и финансы, он умиротворяет, укрепляет народные идеалы, оздоравливает села и города, проповедует гигиену, водворяет науку и т. д. и т. д. и все это без разговоров, все в одну минуту и все за три копейки. Стоит только сказать этому расторопному человеку: „оздорови деревню, прекрати неправду, развивай бытовые начала, улучшай нравы, вот тебе два целковых на расходы!“—расторопный человек ответит только одно неизменное „слушаю-сь“, хлопнет нагайкой по лошади, и след простыл. Глядишь—все исполнил и даже сдачи представил с двух рублей, за всеми расходами семьдесят пять копеек“ *).

Но на заре идеалистического увлечения даже эта «расторопность» всяких рыжих, подстриженных бородок и их

*) Соч. Гл. Успенского, т. II, стр. 265.

неизменное „не суйся“ не могли удержать народолюбивую интеллигенцию в ее стремлении культурной деятельности среди крестьянской массы. Как жилось ей в деревне—об этом полны скорбных воспоминаний страницы русской истории и литературы. Нужна была великая вера в свое дело, великая любовь и надежда по отношению к этому недоброжелательному, нередко жестокому народу, великая сила воли, чтобы перенести все лишения и страдания, чтобы не разочароваться, не пасть духом с первых же шагов.

„Сначала ей крутенько было,—описывается судьба учительницы в цитированном нами романе Мордовцева.—Стали дядьки ей пакостить, мальчишек на нее напущали, ворота дегтем мазали, на заборе у ее ворот мелом всякую скверну писали, так что срам было мимо пройти. Натерпелась-таки, голубушка, а на своем поставила, и под конец все обошлось к благополучию, только извелась ни на что, бедная“*).

Но и это, сомнительное „благополучие“, приобретающееся ценой крови и нервов, не всегда бывало возможным. Сколько раз дело кончалось так, как оно изображено в полном трагизма рассказе Новодворского „Сувенир“: герой—сельский учитель—попадает за тридевять земель, а героиня—фельдшерица—лишает себя жизни. И все эти драмы и трагедии разыгрывались на глазах у тех самых масс народных, ради которых народолюбивая интеллигенция жертвовала своим покоем, счастьем, нередко и жизнью; и массы эти—в лучшем случае держались пассивно и безразлично. А, между тем, так сильно было обаяние этой культурной миссии, так высоко было напряжение действенной энергии народолюбивой интеллигенции, что понадобились годы опыта и сотни, быть может, тысячи напрасных, бесполезных жертв, пока зародилось в ней сомнение и относительно самой задачи, и относительно путей к ее осуществлению.

Однако, в конце-концов, весь этот опыт и все эти жертвы привели к разочарованию, к „сомнениям и колебаниям“. Это было первое разочарование в романе интеллигенции с народом. Оно пало, как камень, на пути народолюбивого потока, и, разбившись об этот камень, поток поплыл дальше двумя, все более и более расходящимися струями.

Вот как отразился указанный нами перелом в середине 70-х годов на настроении одного из самых характерных представителей этой эпохи:

„Голод! Когда ты оставишь меня? Вечный, физический или душевный голод! Да будь хоть семи пядей во лбу, а если тебя бросить в бездонное болото, ты так же прекрасно потонешь, как самый слабый смертный. Мне теперь очень

*) «Знамена времени», стр. 59.

тяжело. Я ясно чувствую, что я теперь дальше от народа, чем когда бы то ни было; что я теперь не только не могу быть чернорабочим, как мечтал когда то, но даже положение народного учителя едва ли было бы мне под силу. Дело ясно: мне опротивела та обстановка бесприютности, которую пахнет при слове „мужик“, опротивела потому, что я слабее, тогда как он не переменяется, потому что я измучился, устал от нравственных мучений (каковы бы они ни были, они не всегда бывают глупы), которые ему меньше знакомы... А, между тем, я себя воспитываю, чтобы слиться с народом. Да это просто насмешка! Насмешка над логикой с моей стороны и горькая ирония обстоятельств надо мною“.

Так писал в феврале 1876 г. в своем дневнике очень чуткий наблюдательный человек—А. О. Новодворский*). И это пессимистическое настроение не было личной особенностью автора. Он видел его и в других своих современниках, видел и фиксировал в своих рассказах.

„Когда он (Печерица) вечером засядет за книги,—шипит он в рассказе „Эпизод из жизни ни павы ни вороны“,—и через несколько минут зашагает в волнении по крошечной площадке пола, то в его тревожном беспокойном взоре я ясно вижу ни паво, ни вороньи сомнения и колебания; если в эту минуту войдет кто-нибудь посторонний и Печерица начнет с ним разговор, толковый разумный разговор, твердым голосом и с видом человека, власть имеющего, то я прекрасно знаю, что на сердце у него скребут кошки. Вся разница между ним и мною только та, что я, так сказать, постепенно спускался с вершины Кавказа, тогда как он вырастал из земли“**).

Но если спускавшиеся с вершин Кавказа, кающиеся элементы и выраставшие из земли разночинские и сходились в данный момент в общем настроении „сомнений и колебаний“, тем не менее, уже в этом и как раз в этом настроении лежала исходная точка их последующего расхождения. „Сомнения и колебания“ оказались тем общественным реактивом, который разложил разношерстную массу народолюбивой интеллигенции на два основных элемента: один из них преодолел свое временное настроение и сумел отрешиться от него; другой „не осилил думы жестокой“, и временное настроение одолело его, стало доминирующим его настроением. Вот как характеризуется встреча обоих элементов—восходящего разночинского и отживающего дворянско-культурнического—в рассказе Новодворского „Накануне ликвидации“:

*) А. Осипович (А. О. Новодворский), собр. соч. СПб. 1897 г., предисловие.

**) Там же, стр. 19.

— Этому молодому человеку я недостойн развязать ремешек у обуви...— рассказывает дворянский сын Попутков про своего „духовного сына“.— То что у меня было только отвлеченной теорией, принадлежностью заветной клеточки мозга, которой я не открывал вне интимного кружка, у него сделалось общим исключительным настроением... Сколько в нем силы... Он и мне протягивал руку...

— Ах вы... голубчик мой! И что же, вы того... оттолкнули эту руку?...

— Да, потому что в сущности ни на что неспособен.*)

Но если Попутков так искренно признает свою неспособность на что-нибудь путное, то нельзя сказать, чтобы его направление было столь же откровенно. Напротив, оно—как мы увидим ниже—со свойственным всякому отживающему течению непониманием старалось объяснить исключительно неблагоприятными внешними условиями свою неспособность сыграть самостоятельную общественную роль.

Ни паво ни вороньи сомнения и колебания должны были скоро разрешиться для Печерицы и его друзей в виде преодоления временного пессимистического настроения. Несмотря на высказываемый автором страх потонуть в болоте, потонуть они не могли хотя бы уже потому, что, как говорит несколько дальше Печерица, „если в башке у человека зародилось кое-что, чему по законам человеческого прогресса положено развиваться, то такой человек не умирает“.

Зато нельзя того же сказать про другое крыло народолюбивой интеллигенции. То, что все определеннее зарождалось в „башках“ этих элементов, лишь идеологически отражало разлагающиеся условия быта породившей их общественной группы; как эта группа, так и ее идеологи были обречены историей на гибель. Гибель „вишневых садов“, как определенной самостоятельной хозяйственной категории, гибель того красивого мировоззрения и тех тонких настроений, которые вырастали в нежной атмосфере этих „вишневых садов“,—отражалась в умах кающихся в форме мирового пессимизма.

Освободившись от идейной гегемонии разночинцев, культурническое течение пришло окончательно к самосознанию, и это самосознание было бесплодно, как песок пустыни.

V.

Выделившись из общей массы народолюбивой интеллигенции, культурно-народническое течение все резче и резче начало приобретать те характерные черты отживающего

*) Там же, стр. 384.

в историческом смысле общественного слоя, которые затупевывались прежде, благодаря гегемонии разночинской идеологии.

Только после этого расхождения начали складываться и рельефно выступать оба указанные нами типичные настроения: жизнерадостное, оптимистическое, бодрое — разночинца и мрачное, пессимистическое, угнетенное — кающихся элементов. Вокруг этих двух настроений группировались оба течения народолюбивой интеллигенции, определяясь нередко в гораздо большей мере указанными психологическими факторами, чем социальным происхождением и положением. Дело в том, что и разночинец, и кающийся дворянин не имели под собой той прочной классовой подпочвы, которая властно определяет и направляет развитие взглядов, вкусов, понятий данной общественной группы; оба они происходили из отживающей, неспособной к самостоятельной общественной жизни среды. Разночинец, как это видно из самого названия, являлся продуктом разложения, отбросом разных социальных групп. Происходил ли он из разлагающегося, как сословие, крестьянства, или из недоразвившейся в России до самостоятельной роли мелкой буржуазии, или же неустойчивых групп, как духовенство и мелкое чиновничество, — всегда в основе его психологии лежал разрыв с родной средой. Являясь по отношению к этой среде как бы „избыточным населением“, колонистом, ищущим счастья вне родных условий, он отрицает и экономические условия ее жизни и ее социальную роль и ее типичную психологию. Конечно, в зависимости от силы этого отрицания и от степени проникновения его психологии элементами мещанства, определяется и та среда, в которой он будет объективировать свою новую идеологию, среда, к которой на службу он пойдет.

Нельзя не отметить, что теперь, когда капиталистические отношения и соответствующая им степень дифференциации общества приняли в России вполне определенные формы, громадный процент разночинцев растворяется в буржуазной среде. Но в половине 70-х годов в период еще слабой дифференциации разночинец был по преимуществу народолюбив и в народной среде искал осуществления своих идеалов.

Несколько иной, хотя не менее неустойчивой была социальная подпочва другого течения — кающегося дворянства. Происходя из тех слоев землевладельческого дворянства, которые в силу экономического и социального характера своего быта не могли приспособиться к новым буржуазно-капиталистическим методам хозяйства и мышления, это течение явилось, таким образом, продуктом оскудевающей,

разлагающейся, обреченной на гибель общественной группой. Из родной среды оно вынесло отрицание этой среды, отрицание ее греховного прошлого, и в то же время враждебные отношения к новому нарождавшемуся буржуазному порядку.

Психология этого течения определялась желанием сохранить поэзию „вишневых садов“ при необузданном товарном обращении, определялась переходными условиями между крепостным и капиталистическим хозяйством. Неудивительно, что кающихся потянуло в деревню, уже освобожденную от крепостной зависимости и еще не вовлеченную в торговый оборот буржуазного хозяйства. Таким образом, психология кающегося дворянства также характеризуется отрицанием родной среды, но это отрицание— в противоположность разночинскому, нерешительное и половинчатое. Те единичные лица и группы, которые в силах были преодолеть эту половинчатость, уходили окончательно в ряды разночинцев.

Указанный нами выше раскол в рядах народолюбивой интеллигенции не только резко разделил ее на две группы, характеризующиеся принадлежностью к тому или иному психологическому типу, но, вместе с тем, дал возможность самостоятельно развиваться каждому из этих типов и принять ту форму, которая полнее всего выражала его сущность. В освобожденной психологии культурно-народнического течения сразу же выступили на первый план унылые пессимистические нотки—отражение общественного вырождения и упадка,—и эти нотки „сомнения и колебания“ стали играть в ней доминирующую роль. Спустившиеся с вершины Кавказа кающиеся элементы были ядром и вождем этого течения и печать своей типичной психологии они наложили на все течение.

Сколько раз мы опускали руки;
Сколько раз бросали бурный спор,
И опять с отвагой шли на муки,
На борьбу за свет и за простор*)

—пело одно течение устами П. Я.

Неволя колыбель мою качала,
Бессилие могилу роет мне,

—отвечало другое словами Фруга.

Дон-кихотизму разночинцев культурно-народническое течение противопоставляло гамлетизм.

„Говорят, что беспощадный анализ—мучение,—писал в 1877 году четырнадцатилетний Надсон в своем дневнике, —я, наоборот, нахожу в нем какое то особенное наслаждение, особенное удовольствие...“

*) П. Я. Стихотворения, т. I, стр. 9.

Поколение, певцом которого суждено было стать Надсону, влагало в самую основу своего настроения разлагающий и ослабляющий анализ. Общественное течение, обреченное на гибель, общественное течение, которому суждено было выродиться в „лишних людей“, с характерной близорукостью искало причин своего пессимизма не в собственном бессилии, как общественной группы, а во внешних условиях, в пошлости людей, в несовершенстве мира.

Положительные стороны человеческой природы, как бодрое, жизнерадостное настроение, вера в будущее, жажда борьбы, стали считаться символом пошлости, отрицательные же черты, свойственные всякому погибающему течению—бессилие, неудовлетворенность, неверие, пессимизм—возводились в норму, устаивались какого то культа. Неудивительно поэтому, что другой властитель дум рассматриваемого нами поколения—Всеv. Гаршин—писал в письме к Фаусеку следующие язвительные строки:

„Все люди, которых я знал, разделяются на два разряда или, вернее, распределяются между двумя крайностями: одни обладают хорошим, так сказать, самочувствием, а другие—скверным. Один живет и наслаждается всякими ощущениями: ест он—радуется, на небо смотрит—радуется, даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием. Придет из ватер-клозета и говорит: „Ну, брат, да и хорошо же я—и пр.“^{*}).

Эти ядовитые слова очень ярко выражают характерный для падающего общественного слоя культ унылого страдальческого настроения. Эта инстинктивная неприязнь ко всему жизнерадостному сказалась очень реально также впоследствии в 90-х годах, когда энигоны некогда прогрессивного течения, поседевшие в гражданской скорби, с враждебным недоумением смотрели на молодое поколение, которое чему то радуется. Вся история русской интеллигенции дает яркую характеристику этой смены настроений и наглядно доказывает, что вне п с и х о л о г и ч е с к и х делений людей на Гамлетов и Дон-Кихотов, на лиц с „хорошим“ и со „скверным“ самочувствием и т. п. существуют такие же социологические деления, когда условия общественного развития придают настроению той или иной группы оптимистический или пессимистический оттенок.

Так и настроение Гаршина и всей культурнической струи и прогрессивного направления было продуктом не индивидуального устройства, как казалось самому Гаршину, а той роли этой струи в общественной жизни, которая

^{*}) Памяти Гаршина (сборник), СПб. 1889 г., стр. 48.

осуждала ее на жизнь „без дела и без отдыха“, по выражению Глеба Успенского.

Мы видели уже выше, что в качестве суб'ективного элемента психологии кающегося дворянства входила в нее моральная потребность уплатить „старинный, мучительный долг“. Ради этой потребности интеллигенция надевала зипун и лапти и шла унавоживать почву под современные идеи. Мы видели также, как она разочаровалась в этом предприятии, как у нее возникли „и сомнения и колебания“, и как эти сомнения и колебания привели к расколу, к разделению потока народолюбивой интеллигенции на два течения. Перед лицом этого разочарования культурно-народническое течение попыталось посредством характерного для нее приема приспособления своих потребностей к внешним условиям удержаться в народной массе.

— Тут ли не найти себе места и дела,—говорило оно,—особливо человеку, знающему цену своим силам и готовому помириться с какими угодно микроскопическими размерами поприща, лишь бы оно только имело связь с добропорядочностью дела (непрерывно) на пользу ближнего*).

Но и это самокастрирование, этот переход от „современных идей“ к „микроскопическим делам“ не спас народолюбцев от грозного окрика: „не суйся“. Не имея собственных ярко выраженных классовых интересов, не будучи в силах стать целиком на точку зрения какого-нибудь другого класса, лишенное, наконец, внешней возможности уйти беспрепятственно в чисто-культурническое филантропическое дело, культурно-народническое течение обречено было на медленную тяжелую агонию: положение его стало безнадежным.

„Много в ту пору сгибло народу,—пишет Гл. Успенский,—не знаю, как я цел остался, каким образом не очутился в Неве, не помешался. Я помню только целые годы какого то смертоноснейшего угара. Только бывало и видишь: вот-вот человек сойдет с ума, делает что то, мечется, смотрит какими то ужасными глазами; и точно: через день, через два—рассказывают—повезли в сумасшедший дом. Или придет кто-нибудь и извещает, что он только что с 11-й версты—просидел 10 месяцев. В то же время в обществе, жившем без дела и без отдыха, утомленном этим невозможным нравственным состоянием, стала распространяться какая то мертвящая ханжеская доктрина, проповедывавшая кротость и простоту сердца, требовавшая какого то умиления почти перед голой пустотой и ровно ни к чему, ни добруму ни худому не обязывавшая человека“...**)

*) Глеб Успенский, соч. т. II, «Малые ребята», стр. 263.

**) Там же, стр. 265.

Из этой характеристики Успенского уже ясно намечается процесс разложения культурно-народнического течения: с одной стороны, выделяется группа—самая инертная в своем общественном значении,—которая развивает и проводит в жизнь одну часть старой формулы кающегося дворянства: покаянный морализм. Это направление, успокоившееся на удовлетворении чисто субъективной потребности морального равновесия, этического самосовершенствования, легко, конечно, разрешило „проклятые вопросы“ во всевозможных интеллигентских поселках, культурнических начинаниях и т. п.

Другое же направление, для которого в прежней формуле гораздо важнее была другая часть, именно—уплата мучительного долга, т. е. не нравственная обязанность по отношению к своему Я, а общественная обязанность перед народом, лишенное возможности уплатить этот долг в той форме, на какую оно только и было способно,—осуждено было на жизнь „без дела и без отдыха“, т. е. на бездеятельность, на самоанализ, приводящий к самому мрачному пессимизму, на самобичевание и безнадежное нытье. И каждый шаг такого анализа приводил все в большие и большие дебри пессимизма.

„Получил письмо от Alex. Heard., Esq-re из Лондона,—пишет Гаршин еще в 1876 году Дрентельну.—Тоже тоскует. Господи, куда же деваться! Разве в самом деле удариться в гартмановщину, или еще в какую-нибудь ерундищу? Не ударишься ни во что подобное; мозги все-таки так положительно устроены, что Гартман не соблазняет“.

Гартман—пессимистическая философия Эд. Гартмана,—конечно, не мог соблазнять Гаршина и других людей этого типа. „Удариться в гартмановщину“, т. е. возвести свой социальный пессимизм в философский принцип, в мировой закон—для этого и мозги были слишком положительно устроены, да подобной „ерундищей“ занимались уже другие, дошедшие до „умиления почти перед голой пустотой“. Для „положительных мозгов“ нужна была положительная работа. А на этот счет дело было безнадежно.

И вот, начало возникать сомнение: нужна ли эта положительная работа. И на этот вопрос слышался ответ Надсона:

Я боюсь, что мы горько ошиблись, когда
Так наивно, так страстно мечтали,
Что призванье людей—жизнь борьбы и труда,
Беззаветной любви и печали...
Ведь природа ошибок чужда, а она
Нас к открытой могиле толкает.

Но, „если жизнь борьбы и труда“—не призвание людей, а простой мираж, плод фантазии, то что же остается делать человеку перед лицом суровой жизни? Если не бороться—то, значит, страдать. Страдание и горе выступают, как основное настроение неспособных на борьбу людей. Выше мы видели, как бодрое и жизнерадостное настроение отождествлялось с пошлостью, теперь делается шаг дальше и провозглашается культ горя и страдания:

Кто крест однажды взялся несть,
Тот распинаем будет вечно.
И если в жертве счастье есть,
Он будет счастлив бесконечно*).

Счастье жертвы! Как далеко ушла прогрессивная часть общества от Базаровского „Мы драться хотим“. Но если у Минского мысль высказана еще в условной форме (если... есть), то у Надсона счастье жертв возведено уже на пьедесталы:

Ведь сердце твое—это сердце больное,
Заглохнет без горя, как нива без гроз:
Оно не отдаст за блаженство покоя
Креста благодатных страданий и слез.

Но что же тогда эта самая жизнь, которая еще так недавно сулила борьбу и труд, а теперь вблизи дает только страдания и слезы? Жизнь эта—обманчивое марево:

Бедна, как нищая, и, как рабыня, лжива,
В лохмотья яркие пестро наряжена,
Жизнь только издали нарядна и красива,
И только издали манит к себе она. (1882 г.)

Но если жизнь вблизи ненарядна и некрасива, быть может, она все-таки даст хоть какую-нибудь возможность сделать ее хоть сколько-нибудь нарядной и красивой? Увы! Разочарование поэта толкает его по наклонной плоскости отрицания, и он видит уже, что жизнь не только ненарядна и некрасива, но что она и бесплодна:

И скорбно я глядел потухшими очами,
Как жизнь, еще вчера сиявшая красой,
Жизнь,—этот пышный сад, пестреющий цветами,—
Нагой пустынею лежала предо мной. (1883 г.)

Жизнь—бесплодная пустыня, а в пустыне не только борьба и труд, но и горе и страдание теряют всякий смысл:

Для чего и жертвы и страдания,
Для чего так поздно понял я,
Что в борьбе и смуте мирозданья
Цель одна—покой небытия? (1884 г.)

*) Н. Минский, «Гефсиманский сад».

Так жизненное бессилие разлагающегося общественного слоя привело последовательно его идеологов к отрицанию всякого смысла в мировом и общественном процессе. Несоответствие этого процесса интересам данного слоя заставляло признать бессмысленным и беспцельным самый процесс: нелепое с ограниченной точки зрения обитателей „Вишневого сада“ казалось им нелепым с точки зрения мирового процесса.

Таким же мрачным пессимизмом проникнуто и настроение Гаршина. Особенно резко это сказалось в его рассказе „*Attalea princeps*“. Рассказ этот слишком известен, чтобы излагать его; приведем лишь несколько строк из конца его:

„Была глубокая осень, когда *Attalea* выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи... — „Только-то,—думала она.—И это все, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?“

Характерная черта всякого отживающего течения—его непригодность к господствующему строю отношений, его, если можно так выразиться, тепличная психология. И эта непригодность, эта тепличность целиком отразилась на злоключениях и рассуждениях пальмы.

Attalea princeps росла в деревянной бадье, питалась искусственным воздухом оранжерей. Если бы она пустила корни в здоровую почву и притом так же глубоко, как растущая вне стен оранжерей сосна, если бы она, подобно этой сосне, росла в обычных для данной широты условиях, ее бы, наверное, не смутила ни осенняя сырость, ни зимняя стужа, она бы не впала в пессимизм, не усомнилась бы в смысле исторического процесса. В данном процессе упадка и разложения интересующего нас общественного течения от него отлагались и уходили в другие группы все сколько-нибудь живые, сколько-нибудь способные ожить элементы. Поскольку же они по той или другой причине не в силах были отделиться и уйти, они гибли под гнетом безысходного пессимизма. Этот отбор лучших элементов, естественно, понизил уровень всего течения и свел его к тому пошлому водотолчению, которое характеризует рассматриваемую нами общественную группу в конце 80-х г.г.

Вот какую картину рисует тот же Гаршин: „6-го были мы вместе с Васей у X.; собралось на именины человек 15 молодых учителей, ад'юнктов, лаборантов и пр. ученой братии. Нехорошее я вынес впечатление. Разговоры об единицах, решение геометрических курьезов, разговоры о трихлорметил, бензолонилоидном окисле какой-то чертовщины (я, конечно-наврал в этом названии как дикарь,—но *se non è vero è ben*

trovato)—это часть первая. Гнуснейшие в полном смысле слова анекдоты, соединение ужасной чепухи с бесцельной и неостроумной похабщиной (какая-то турецкая или ташкентская)—это второе. Основательная выпивка—третье. И больше ничего. Ни одного не только разумного, но хоть сколько-нибудь интересного слова. Право, какое-то одичание*).

Эта картинка вводит нас прямо в то царство пошлости, в котором выросли, действовали и погрязли герои чеховских пьес—„лишние люди“.

VI.

Вполне законченный тип „лишних людей“ сложился, как мы уже видели, к концу 80-х годов. Последующее развитие общественных отношений, особенно, новый подъем, которым ознаменовались 90-е годы, еще ярче подчеркнул те отрицательные черты рассматриваемого типа, которые так характерны для падающего, отживающего свой век течения. Как старая полустгнившая баржа, занесенная песком и тinou, неподвижно лежит на дне реки, в то время как над ней проносится благодатный поток весеннего половодья, так и наши эпитоны культурно-народнического типа не в силах были подняться из засосавшей их тины, когда над их головами зашумели волны нового весеннего разлива. И жизнь прошла мимо них.

Типичная психология „лишних людей“, являясь, как мы указали выше, „надстройкой“ над их общественно-экономическим бытом—бытом вымирающего общественного типа, по необходимости окрашена в мрачный, пессимистический цвет; и как сквозь черное стекло нельзя воспринять всей яркой жизнерадостной красоты майского утра, так и сквозь оболочку пессимистического настроения „лишних людей“ не могли проникнуть бодрые голоса весны. Положение становилось безнадежно. Дальше идти было некуда. „Лишние люди“ могли только или прозябать и гибнуть или перерождаться в другие общественные типы, т. е. опять-таки гибнуть, как течение; как общественный слой. И оба эти явления—перерождение и гибель—можем мы наблюдать в среде чеховских героев.

Основная психологическая черта „лишних людей“—это разлад сознания и воли. Эта черта характера для представителей всякого отмирающего, сходящего со сцены общественного течения. Если какая-нибудь социальная группа осуждена объективными историческими условиями на гибель, она становится уже неспособной смотреть вперед, задаваться далекими целями, ставить себе прогрессивные задачи. Ее роль по существу—консервативная. Не могут выдвигать

*) Письмо к Латкину. дек. 1883 г.

жизненных задач и отдельные представители такой группы, поскольку они остаются на почве интересов характерной психологии данной группы, поскольку они не впадают в отщепенство. Неудивительно поэтому, что у наших героев разлад сознания и воли сказывается прежде всего в неспособности ставить себе цели, в отсутствии идейных жизненных задач.

— Когда идешь темной ночью по лесу,—признается Астров,—и если в это время вдали светит огонек, то и не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, как никто в уезде... но у меня вдали нет огонька...

Это отсутствие огонька, отсутствие руководящей цели не может, в свою очередь, не парализовать действенной энергии, не может не вызывать полного упадка воли. Нет цели в жизни, нет воли работать, нет желания не только делать что-нибудь для ближнего, но даже любить этого ближнего. Апатия одолевает человека, осмысленная жизнь утрачивает всякую прелесть.

— С тяжелой головой, с ленивой душой, утомленный, надорванный, надломленный, без веры, без любви, без цели, как тень, слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачем живу, чего хочу?—жалуется Иванов.

— Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги,—продолжает он.—Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожит от страха перед завтрашним днем.

Почти теми же словами выражает свое настроение и Астров:

— Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю.

Но эта атрофия воли не сопровождается притупленностью сознания; напротив, сознание работает и работает, подчеркивая и клеймя нравственное бессилие и нравственную негодность лишнего человека.

— День и ночь болит моя совесть,—говорит тот же Иванов,—я чувствую, что глубоко виноват, но в чем собственно моя вина, не понимаю... Я умираю от стыда при мысли, что я здоровый, сильный человек обратился... в лишние люди. Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю.

Настоящее признание очень характерно. Иванов чувствует, что он виноват, но не знает, чем. Сознание говорит ему, что его бездеятельность, безвольность, его паразитное существование—преступление перед обществом, но ему недоступно название тех объективных причин, которые сделали его никуда негодным человеком. И он бьется, как рыба об

лед, в тщетных поисках ответа на терзающий его вопрос. „В двадцать лет мы все уже герои... и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся. Чем, чем ты объяснишь такую утомляемость?“ Почему русский интеллигент „с женой замучился, с домом замучился, с именем замучился, с лошадьми замучился!“—вторит ему Вершинин.

— Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, стары, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны...—плачется Андрей Прозоров. И все они—жалкие, беспомощные, лишние—обращаются к жизни со своим роковым „почему?“ Но действительных, глубоких причин им не дано познать, и они вынуждены вращаться на поверхности жизни, довольствуясь наивными ответами.

— Не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни,—говорит Иванов,—я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жилы... Вот, как жестоко мстит мне жизнь, с которой я боролся.

Это объяснение, равно как и пресловутая ссылка на „среду“, которая „заела“, конечно, не дает ответа на вопрос, откуда эта „утомленность“ „лишних людей“. Почему же другие не утомляются, почему другие не надрывают спин, почему их не может заесть среда? История дает нам тысячи примеров того, какую исполинскую работу способны выносить целые общественные группы и их отдельные представители, раз этим группам самой жизнью суждено крупное будущее. Вера в идеалы, страстная жажда их осуществления, гигантская энергия в борьбе за эти идеалы—все это лишь функции той основной величины, которая определяет собой и положение данной группы в обществе, и содержание ее идеалов, и осуществимость их в историческом развитии. Но ограниченная групповая психология наших героев не позволяет им понять глубоких объективных причин их мелочных субъективных страданий.

Правда, эта же психология, благодаря своей поверхностности, позволяет им утешаться близорукими, элементарными толкованиями. Познание истины, познание всей безнадежности их положения означало бы для них смерть. Объяснение „утомляемости“, данное Ивановым, напротив, приводит их к выводам, позволяющим оправдывать жизнь. А выводы эти очень простые и ясные: если Ивановых губит то, что они взвалили непосильную ношу, то ясно, что, раз они страдают такой „утомляемостью“, следует поберечь спину и поумерить ношу.

— Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках,—назидательно советует Иванов,—а выберите себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще, всю жизнь стройте по шаблону.

Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены... Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное, дело... Это теплее, честнее и здоровее...

Ответ найден, разрешена жизненная задача „лишних людей“. Стройте жизнь по мещанскому шаблону, и ваша душа не будет утомляться, ваша совесть не будет болеть, вы перестанете быть лишним человеком. Классовый инстинкт подсказывает те самые практические правила жизни, которые с таким пафосом были отвергнуты в их теоретической формулировке. Анафема принципам буржуазного общества, и да здравствует мещанское благополучие в личной жизни. Чтобы спасти свое существование, чтобы перестать быть „лишними“, „лишние люди“ должны сбросить с себя так утомляющий их идеалистический наряд и стать мирными буржуа, как это им полагается по законам истории.

Но, найдя разрешение практической задачи, найдя правила жизни, наши герои не могут еще на этом успокоиться, нужно еще осмыслить эту жизнь, нужно осветить ее отблеском того огонька, — каков бы ни был этот огонек, — на отсутствие которого так жаловался Астров.

„Или же знать, для чего живешь, или же все пустяки, „трын-трава“, — говорит одна из трех сестер — Маша. Но какой же смысл, какую более или менее возвышенную цель можно внести в „серенькую, заурядную“ жизнь, построенную „по шаблону“? Тут на помощь является дядя Ваня.

— Когда нет настоящей жизни, то живут миражами, — говорит он. — Все-таки лучше, чем ничего. — И вот таким миражем, долженствующим украсить жизнь, является особая, своеобразная теория счастья будущих поколений, ради которого „мы“ только должны жить. „Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его“. Счастье — это удел далеких будущих поколений, для которых „мы“ подготавливаем его своим существованием и трудом.

— Через двести, триста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь, — говорит Вершинин. — Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, цу, страдаем, мы творим ее — и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье, и как бы мне хотелось доказать вам, — прибавляет он, — что счастья нет, не должно быть, не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье — это удел наших далеких потомков. Не я, то хоть потомки потомков моих.

На той же точке зрения стоит и Астров. Спасая от порубки леса, насаждая новые, он питается надеждой, что

„если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я“. Эта же мысль скрашивает и безнадежно печальное существование трех сестер.

— Пройдет время...—говорят они,—страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь.

Правда, неисправимый скептик Астров позволяет себе иногда высказывать сомнения на счет благодарности будущих поколений. „Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу,—размышляет он,—помянут ли нас добрым словом? Ведь не помянут!“

Но против этого маловерия выступает Мапа со своим категорическим императивом: „Человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста“.

Эта обязательность веры является очень характерной чертой психологии „лишних людей“, но, вместе с тем, она с логической неизбежностью вытекает из всей их позиции. У здоровых бодрых поколений вера в будущее является неотъемлемой органической частицей того общего настроения, которое толкает их на борьбу и заставляет выдвигать в борьбе известные цели и лозунги. Для этих поколений, по меткому выражению Базарова, принципов не существует, а есть только ощущения. Их цельные натуры не знают противоречий между задачами и средствами их выполнения, не знают разлада между сознанием и волей, между убеждением и верой. Они и мыслят, и верят, и действуют под влиянием единого настроения, единой цепи ощущений. Не то падающие, отмирающие течения.

Их половинчатость и раздвоенность по необходимости противопоставляют принципы и ощущения, долг и желания. И долг, в силу этого, является чем то чуждым, внесенным извне каким то холодным, буздушным императивом, тяготеющим над человечеством, как злой рок. Он не вытекает органически из цельной психологии субъекта в полном соответствии с его волей, с его общим настроением, а является каким то внешним суровым законом, навязанным человеку какой то высшей силой. И человек-раб страдает под гнетом этого закона, но, понятно, подчиняется ему, ибо чувствует, что только в этой рабской атмосфере может прозябать его рабская душа. Он уже раскололся: между его сознанием и волей целая пропасть. Сознание твердит: ты должен работать для счастья будущих поколений; воля отвечает: не желаю, не верю.

И вот над человеком-рабом грозно встает скрижаль долга: ты должен верить, иначе ты погибнешь. И раб бро-

сается в разные идеализмы, строит безобидные фикции счастья человечества, ради которого он якобы живет, и всячески старается приукрасить свое неприглядное существование. Потому что ведь „надо жить“, как неоднократно подчеркивают чеховские герои.

„Человек должен быть верующим“, — и разочарованный „лишний человек“, которому под-стать было пустить себе пулю в лоб, находит сразу в этой философии достаточное оправдание пошлости, оправдание своего зоологического существования.

— Что же делать, — надо жить, — вздыхает он вместе с Соней и продолжает жить за счет будущих поколений.

VII.

Примирение с житейской пошлостью — потому что „надо жить“; скрашивание этой пошлой жизни фикцией счастья будущих поколений, потому что „для нас счастья не должно быть“; обязательность идеалистической формулы: „человек должен быть верующим“ — вот те положения, которыми защищает свое право на существование рассматриваемое нами вымирающее течение. Правда, отвлеченные моральные формулы не могут заглушить голос больной совести, но они прекрасно могут оправдать пошлое мещанское существование. Они не могут заполнить пропасти между сознанием и волей, но они могут замаскировать эту пропасть в глазах нетребовательного к себе человека — раба. И при наличии этих примирительных формул не раз, конечно, будет бунтоваться большая совесть не опоплевшего еще окончательно „лишнего человека“. Не раз будет он, после долгих разговоров о счастье „потомков наших потомков“, биться головой об стену и с отчаянием восклицать: „зачем мы живем, зачем страдаем? Если бы знать, если бы знать!“ Не раз еще дядя Ваня оторвется от своих счетов и будет с воплем восклицать: „Как я проживу эти тринадцать лет? что буду делать, чем наполню их?“

Но если примирительные формулы не удовлетворят иного скептика или пессимиста, они удовлетворят десятки и сотни обезличившихся Ионычей или Андреев Прозоровых, которые разве в большие праздники и то под секретом будут вздыхать: „я вижу свободу (в „будущем“, — конечно), я вижу, как я и дети мои становимся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства“. И с полной верой в то (ведь, „человек должен быть верующим!“), что некое „будущее“ само позаботится о том, чтобы освободить „лишних людей“ от их праздности и тунеядства, т. е. от них же самих, Прозоровы погрязают

в болоте, барахтаются в самой тине мещанского благополучия, окруженные своими достойными женами, гусем с капустой, такими же, как они, сослуживцами и оравой подлежащего освобождению потомства. И они правы, действительно, в одном: будущее устранил „противное“ настоящее. Будущее, т. е. развитие общества, освободит не „лишних людей“ от гуса с капустой, конечно, а все общество от „лишних людей“, этого пережитка, держащегося еще лишь, благодаря нездоровой тепличной атмосфере.

„Лишние люди“, как общественная группа, уже теперь исчезают, частью вымирая, частью переходя в другие общественные группы. Это бегство из родной группы намечается, хотя очень слабыми чертами, и у Чехова. У героев его пьес оно выражается в некотором пресечении в их характерную психологию таких черт, которые, развиваясь и пуская корни, способны занять первое место, наложить на всю психологию свой отпечаток и придать ей своеобразную окраску, характерную для другой общественной группы. Таких разлагающих черт можно отметить в общем три, и они дают начало трем различным направлениям, в которых идет их развитие и разложение основной психологии. Повторяем, у Чехова этот процесс только намечен, и нам приходится освещать его аналогиями, взятыми из литературы и наблюдениями над жизнью.

Мир „лишних людей“—это мир бездеятельного прозябания, мир праздности и тунеядства. Естественно, что, как реакция против этой пассивности и апатии, выдвигается принцип активности, входящий, как разлагающее начало, в среду и в психологию „лишних людей“. Но этот принцип выступает в трех видах: художественное творчество, производительный труд, общественная деятельность.

Еще задолго до того, как Чехов дал свои типы „лишних людей“, в русском обществе начал замечаться интересный процесс в среде так называемого прогрессивного слоя общества,—процесс, вызванный и обусловленный всеми изложенными выше перипетиями русской общественной жизни. Обнаружилось бегство разочарованных, становившихся уже „лишними“, людей от общественных идеалов и общественного служения к эстетическим идеалам и служению „чистому“ искусству. Процесс этот, не зарегистрированный, конечно, никакой статистикой, не поддающийся учету во всем его объеме, можно было, тем не менее, ясно наблюдать по самому чуткому указателю—литературе. Писатели, заявившие себя в 70-х годах „тенденциозными“, „с направлением“, т. е. по-просту говоря, писатели—общественные деятели, начали, мало-по-малу перестраивать свои лиры для более „неземных“ более „возвышенных“ и—надо признать—в большинстве

случаев, менее художественных песен. Всем памятно, конечно, характерные метаморфозы, происшедшие в 80-е годы с такими писателями, как напр., Минский и ему подобные. Общественная атмосфера подготавливала почву для таких поворотов, и нет ничего удивительного, что элементы, мало устойчивые в общественном отношении, шли по этой „линии наименьшего сопротивления“. Нет, конечно, ничего удивительного и в том, что подрастающие поколения, выросшие в среде „лишних людей“ и неспособные сбросить с себя гнет этой нездоровой обстановки, естественно, влеклись в сторону того же эстетизма, в то время, как страна, казалось, требовала наибольшего притока сил как раз к другим отраслям деятельности.

Это тяготение известной части народолюбивой некогда интеллигенции отмечено и у Чехова, хотя, надо признаться, лишь легкими штрихами. Культ красоты остается единственным увлечением врача Астрова, после того, как он растерял все свои идеалы, „огоньки, надежды“. „Я никого не люблю и уже не полюблю“,—признается он.—„Что меня еще захватывает, так это красота. Не равнодушен я к ней“. Это почти буквальное повторение слов г. Минского, певшего,—когда он тоже очутился в положении Астрова,—что „нет на свете любви, нет на свете добра, только есть красота“... Та же эстетическая подкладка проглядывает и сквозь любимое дело Астрова—лесоводство. „Русские леса трещат под топором,—жалуется он... исчезают безвозвратно чудные пейзажи... Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту... С каждым днем земля становится все беднее и безобразнее“... Еще полнее высказывает эстетическую философию Астрова Соня, передающая его слова: „В странах, где мягкий климат, мягче и нежнее человек; там люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства; философия их не мрачна, отношения к женщине полны изящного благородства“.

Но если у Астрова, как бывшего общественного человека проскальзывает иногда, как отголосок прошлого, мысли о благе и счастье людей, хотя бы только отдаленных поколений, то уже совсем свободны от этих „сомнений и колебаний“ молодые герои „Чайки“, вкладывающие всю свою жизнь в увлечение искусством и бегущие от общественных запросов в художественное творчество. Это второе поколение окончательно разделяется с „иллюзиями“ отцов и окончательно уходит из того мира мечтаний о благе человечества, в котором „лишние люди“ пережили столько надежд и столько разочарований.

Но если художественное творчество, по самому своему характеру, доступно лишь ограниченному кругу, лишь немно-

гим „избранным“ из многих „званных“, то несравненно ниже по своей доступности другая дорога—дорога, выводящая из среды „лишних людей“ через производительный труд. Труд в самом буквальном и физическом значении становится каким-то идеалом, какой-то панацеей от всех бед. Работать, работать!—твердят размагниченные интеллигенты, чувствующие, как у них есть еще маленькая надежда выбиться из всезасасывающего омута пошлости и избежать участи „лишних людей“. „Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы вечером придти домой, в утомлении повалиться на постель и уснуть тотчас же,—мечтает Тузенбах.—Рабочие, должно быть, спят крепко“. К несчастью для нашего героя, он так далек от настоящей жизни настоящего рабочего, что рисует себе, как идеал, такие условия жизни, из которых всеми силами старается вырваться всякий мало-мальски сознательный рабочий. Но пропасть, образовавшаяся с течением времени между „интеллигенцией“ и „народом“, заставляет дряблую, опустившуюся интеллигенцию представлять себе быт передовых слоев современного „народа“ в каких-то заманчивых, фантастических очертаниях.

До какой наивности доходит фантазия измотавшихся „без дела и без отдыха“ лишних людей, лучше всего показывают мечты Ирины: „Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то, что человеком, лучше быть волком, лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается... О, как это ужасно“. Что касается последних слов, это бесспорная истина: Действительно, лучше быть полезным животным, чем бесполезным человеком, но прелести труда Ирина изображает вполне с точки зрения упомянутой „молодой женщины“. Едва ли особенные „восторги“ испытывает рабочий от того, что он чуть свет встает и весь день бьет камни на мостовой. Да и „смысл“ жизни представляется ему, вероятно, не в одном лишь разбивании камней днем и крепком сне ночью... Младенческое представление Ирины о труде весьма характерно для психологии, цепляющейся за труд, как за спасение от бессмысленной жизни. „В жаркую погоду так иногда хочется пить,—говорит Ирина,—как мне захотелось работать“. Вот именно: для нее труд то же, что стакан воды в летнюю жару. Это не нормальная, повседневная потребность или необходимость, а исключительное средство против исключительного состояния. Труд вовсе

не „счастье“ и не „восторг“,—по крайней мере, для тех, кто вынужден трудиться.

Поэтому естественно, что попытка „лишних людей“ спастись трудом приводит их к разочарованию.

Но есть еще третий выход из среды „лишних людей“, выход, правда, тоже лишь в общих контурах набросанный Чеховым. И на пути к этому выходу стоят странный, полукаррикатурный „вечный студент“ и Аня („Вишневый сад“). Это выход самый верный, но и самый трудный, невозможный для какого-нибудь дяди Вани или Иванова, однако, возможный для молодых поколений, выросших в этой гнилой среде, но еще не заеденных ею. У порога этого выхода нужно сжечь свои корабли, как некогда сжигали их герои рассказов Новодворекого, нужно разлюбить вишневые сады и, вырвав поэзию и мысль из очарованной обстановки этих „молоком облитых“ вишневых садов, нести ее в обстановку труда, как спасительный фермент. Труден этот шаг, ибо это значит отколоться безвозвратно от родной среды, отряхнуть навсегда ее прах от своих ног.

„Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодезь и уходите. Будьте свободны, как ветер“. И только тот, кто окажется в силах исполнить этот совет Трофимова, сможет вырваться из заколдованного круга праздности, бессилия, тунеядства.

„Пришло время,—говорит Тузенбах,—подвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку“. Да, время пришло. Новое, молодое, здоровое время, с новыми, великими задачами, с новыми, гигантскими запросами. И этому времени нужны новые люди. Не жалкий, забитый, лишенный веры в себя и в жизнь ноющий раб-человек, а сильное, гордое, могучее своей верой поколение совершит великую задачу обновления жизни. Новому времени нужны новые люди. И они придут, они вырастут из земли, придут с гордым Базаровским вызовом судьбе, с его жаждой борьбы.

А „лишние люди“? Общественная волна безжалостно будет сметать их, поскольку они не сумеют во-время ожить к новой жизни. И, уносимые бурным потоком, они будут, конечно, цепляться за жизнь, за пошлую, животную жизнь—их единственное сокровище. Но все эти дяди Вани, все эти „сестры“ с их кругом, все эти владельцы „вишневых садов“, осужденные судьбой на гибель—все они с их мелочными желаниями, с их бесстрастными порывами, с их ничтожными

мыслишками, с их жалкими страданиями не вызовут жалости или сочувствия в людях, поставивших своим девизом: вперед и выше. И когда такие жалкие существа, цепляясь за жизнь, стараются оправдаться словами Сони: „Что же делать, надо жить!“, мы можем возразить им только вместе с Ницше: „почему н а д о?“.
